Затмил голубые цветы,
В петлицу продетые Ладою.
И бровь его на сон похожая,
На дикой ласточки полет,
И будто судорогой безбожия
Его окутан гордый рот.
С высокого темени волосы падали
Оленей взбесившимся стадом,
Что в небе завидев врага,
Сбегает, закинув рога,
Волнуясь, беснуясь морскими волнами,
Рогами друг друга тесня,
Как каменной лирой на темени,
И черной доверчивой мордой.
Все дрожат, дорожа и пылинкою времени,
Бросают сердца вожаку
И грудой бегут к леднику
.....
О, девушка, рада ли,
Что волосы падали
Рекой сумасшедших оленей,
Толпою в крутую и снежную пропасть,
Где белый белел воротничок?
В час великий, в час вечерний
Ты, забыв обет дочерний,
Причесала эти волосы,
Крылья белого орлана,
Наклонясь, как жемчуг колоса,
С голубой душою панна.
И как ветер делит волны,
Свежей бури песнью полный,
Первой чайки криком пьяный,
Так скользил конец гребенки
На других миров ребенке...

(СП.I.152—154)

Это не просто автопортрет и не просто антропоморфный пейзаж, это личность в единстве ее внешнего и внутреннего облика, данная как целый развернутый мир с горами, реками, водопадами, ледниками, несущимися оленями, кричащими чайками и т. д.— разнообразная, бурная, напряженная жизнь природы. Второй, метафорический план настолько конкретизирован, что уже как бы захлестывает первый план, выходя из рамок автопортрета. Только контекст поэмы дает нам опору, чтобы рассматривать этот образ именно в качестве лирики. Но достаточно сравнить этот отрывок, скажем, со стихотворением «На родине красивой смерти Машуке», где горный пейзаж написан как портрет, и не просто портрет, а именно портрет Лермонтова, чтобы понять всю относительность лирики и эпоса, личного и внеличного. Природа может являться как личность и личность — как природа, в зависимости от смыслового строя.

Точно так же обстоит дело и с драмой, где становление личности, ее воля, стремление, борьба могут разворачиваться как во внеличном, так и во внутриличном «пространстве». В первом случае мы имеем эпическую драму, во втором лирическую драму или монодраму. Но в большинстве пьес Хлебникова эти внешние и внутренние драматические пространства вполне отождествляются. И мы оказываемся в положении Ученого из его шуточной «фаустианской» драмы «Чортик»:

«Ужас! Я взял кусочек ткани растения, самого обыкновенного растения, и вдруг под вооруженным глазом он, изменив с злым умыслом свои